Сонечка

Автор:
Людмила Улицкая

Сонечка

Людмила Евгеньевна Улицкая

История Сонечки, которая всю жизнь питается великой литературой, как другие хлебом насущным. И даже счастливый («Господи, за что мне это?!») брак и семья выглядят в повести как временное отклонение от главного пути. Муж умер, получив последний подарок судьбы – юную красавицу Ясю, дочь далеко, и Сонечка возвращается в свой сладко пахнущий книжный мир, чтобы уже никогда не покидать его… По повести был поставлен спектакль в МХТ им. Чехова.

Людмила Улицкая

Сонечка

От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат Ефрем, домашний острослов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении:

– От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос – форму груши.

К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну стать – большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту

приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади.

Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки…

Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги.

Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовой у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру: заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодец толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами…

Что это было – полное непонимание игры, заложенной в любом художестве, умопомрачительная доверчивость не выросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все, остающееся вне его пределов, теряло смысл и содержание?..

Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне: свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточия. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между ощутимой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку…

Выдыхался нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный и практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками его разноплеменных предшественников.

Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фининспектора.

А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова.

Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливцев, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки.

Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие: второразрядного писателя Павлова, и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равнодостойными авторами – на том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие – от прибрежной пены, заполнявшей почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы.

Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решилась поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой и нелепой программе и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент

изменилось: началась война.

Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрестанного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании – в библиотеке, в подвале…

Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем отечестве: помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье, – или была это предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкиной жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации…

Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро-худ и серо-сед и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книги-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час, перед закрытием, не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол.

Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных. Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения.

Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:

– Чудо какое… Какая роскошь… Монтень… Паскаль… – И, все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил: – И даже в эльзевировских изданиях…

– Здесь девять Эльзевиров, – с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но,

передумав, сказал другое:

– Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку, или как это у вас называется?

Соня вытянула свою руку, забытую в его сухих ладонях, и они поднялись вверх по хищно-холодной лестнице, отбиравшей и малое тепло от всяких ног, ее касающихся… Здесь, в тесном зальчике старого купеческого особняка, она впервые написала своей рукой его фамилию, совершенно ей дотоле неизвестную и которая ровно через две недели станет ее собственной. А пока она писала неловкие буквы чернильным карандашом, мелко крутящимся в штопаных шерстяных перчатках, он смотрел на ее чистый лоб и внутренне улыбался ее чудному сходству с молодым верблюдом, терпеливым и нежным животным, и думал: «И даже колорит: смуглое, печально-умбристое и розоватое, теплое…»

Она кончила писать, подняла указательным пальцем съехавшие очки. Смотрела доброжелательно, незаинтересованно и выжидательно: он не продиктовал своего адреса.

Он же был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнейшего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним – его жена.

Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе… На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия.

Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал от этого неиссякающего источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим.

А безмятежная душа Сонечки, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов, забаюканная дымчатым рокотом греческих мифов, гипнотически-резкими звуками флейты средневековья, туманной ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тягомотиной Бальзака, астральной музыкой Данте, сиреническим пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная нравоучительным, направленным в сердце самого неба отчаяньем великих русских, – безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты, и мысли ее были заняты только тем, не совершает ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет право отпускать лишь в читальный зал…

– Адрес, – кротко попросила Сонечка.

– Я, видите ли, прикомандирован. Я живу в заводоуправлении, – объяснил странный читатель.

– Ну паспорт дайте, прописку, – попросила Сонечка.

Он порылся в каком-то глубоком кармане и вынул мятую справку. Она долго смотрела сквозь очки, потом покачала головой.

– Нет, не могу. Вы же областной…

Кибела показала ему красный язык. Все пропало, показалось ему. Он сунул справку в глубину кармана.

– Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, – извиняющимся голосом сказала Сонечка.

И он понял, что все в порядке.

– Я только прошу вас, очень аккуратно, – ласково попросила она и завернула в лохматящуюся газету три малоформатных томика.

Он сухо поблагодарил ее и вышел.

Пока Роберт Викторович с отвращением размышлял о технологии знакомства и тяготах ухаживания, Сонечка неспешно закончила свой долгий рабочий день и собиралась домой. Она уже нимало не беспокоилась о возврате трех ценных книг, которые беспечно выдала незнакомцу. Все мысли ее были о дороге домой через холодный и темный город.

* * *

Те особые, женские глаза, которые, подобно мистическому третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано, не то что были у Сони вовсе закрыты – скорее они были зажмурены.

В ранней юности, по четырнадцатому году, словно повинуясь древней программе рода, тысячелетиями выдававшего замуж девиц в этом нежном возрасте, она влюбилась в своего одноклассника, миловидного курносенького Витьку Старостина. Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть, и ее ищущий взгляд вскоре был отмечен не только обладателем кукольной мордочки, но и всеми остальными одноклассниками, обнаружившими этот интересный аттракцион раньше, чем Соня отдала себе в этом отчет.

Она старалась с собой справиться и все пыталась найти иной объект для глаза – прямоугольник доски ли, тетради, пыльного окна, – но взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался к русому затылку, все искал встречи с этим голубым, холодным, притягательным… Уже и сострадательная подруга Зоя шепнула ей, чтобы она так не таращилась. Но Сонечка с этим ничего не могла поделать. Глаз жадно требовал русоголовой пищи.

Кончилось все это самым ужасным и незабываемым образом. Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую же зиму грядущей войны.

Воспитательный урок тринадцатилетнего рыцаря был между тем настолько убедительным, что девочка заболела. Пролежала две недели в сильном жару. Очевидно, огонь влюбленности покидал ее таким классическим способом. Когда же, поправившись, она пришла в школу в ожидании нового унижения, трагикомическое ее приключение было совершенно заслонено самоубийством школьной красавицы Нины Борисовой, повесившейся в классе после окончания вечерней смены.

Что же касается жестокосердного героя Витьки Старостина, он, к Сониному счастью, тем временем переехал с родителями в другой город, и Сонечка осталась при горьком сознании полной и окончательной исчерпанности женской биографии, что на всю жизнь освободило ее от старания нравиться, увлекать и очаровывать. Она не испытывала к своим удачливым сверстницам ни разрушительной зависти, ни изнуряющего душу раздражения и вернулась к своей рьяной и опьяняющей страсти – к чтению.

…Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал ее. Она поднялась из подвала, в три приема вырастая из темной дыры, близоруко и долго узнавала его, потом закивала как хорошему знакомому.

– Сядьте, пожалуйста, – придвинул он стул.

В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно – едва топили.

Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком, который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал.

– Давеча я забыл у вас спросить, – своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хорошему слову «давеча», которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечье, – забыл я спросить ваше имя. Простите?

– Соня, – коротко ответила она, все поглядывая, как он разворачивает сверток.

– Сонечка… Хорошо, – как бы согласился он.

Наконец обертка отшелушилась, и Соня увидела женский портрет, написанный на рыхлой грубоволокнистой бумаге нежной коричневой краской, сепией. Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино лицо. Она вдохнула в себя немного воздуху – и запахло холодным морем.

– Это мой свадебный подарок, – сказал он. – Я, собственно, пришел, чтобы сделать вам предложение. – И он выжидательно посмотрел на нее.

И тут Сонечка впервые разглядела его: прямые брови, нос с тонкой хребтиной, сухой рот с выровненными губами, глубокие вертикальные морщины вдоль щек и блеклые глаза, умные и угрюмые…

Губы ее дрогнули. Она молчала, опустив глаза. Ей очень хотелось еще раз посмотреть в его лицо, такое значительное и притягательное, но призрак Витьки Старостина промелькнул за спиной, и она, уставившись в легкие извилистые линии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а тем более ее собственное лицо, выговорила еле слышным, но холодным и отстраняющим голосом:

– Это что, шутка?

И тогда он испугался. Он давно уже не строил никаких планов: судьба завела его в такое мрачное место, в преддверие ада, его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посюстороннего существования не казались уже привлекательными, и вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую, прильнувшую к земле жизнь, и видел одновременно, что она будет сладкой ношей для его не утружденных семьей плеч, для трусливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного человека… Но как он подумал… как не пришло ему в голову раньше… может, она уже принадлежит другому, какому-нибудь молодому лейтенанту или инженеру в штопаном свитере?

Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, кривлялась в багровых отсветах.

Он хрипло и принужденно засмеялся, придвинул к ней лист и сказал:

– Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть замужем.

Он встал, взял в руки свою немыслимую шапку.

– Простите меня.

И по-старофицерски резко поклонился, бросив вниз стриженую голову, и двинул к выходу. И тогда Сонечка крикнула ему в спину:

– Постойте! Нет! Нет! Я не замужем!

Сидящий за читальным столиком старик с подшивкой газет неодобрительно посмотрел в ее сторону. Роберт Викторович обернулся, улыбнулся ровными губами и от своей недавней растерянности, когда было заподозрил, что женщина от него ускользает, перешел к еще более глубокой: он совершенно не знал, что же говорить и делать он должен теперь.

* * *

Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, исступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как сванская башня, однако вмещающую без малейших купюр все их разъединенное прошлое: ломаную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и, наконец, к важнейшему делу его жизни, бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и Сонечкину жизнь, питавшуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными.

Теперь же Сонечка вкладывала в их совместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и

переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого…

Из пяти лагерных лет, вспоминал Роберт Викторович, особенно тяжелыми были первые два, потом как-то обмялось – стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий… Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства, и Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например, писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившемся в связи с временной леворукостью цветовосприятии.

По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но, лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым – зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, – он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освещенному присутствием жены Сони, относительной свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции…

Они жили лучше многих. В подвале заводоуправления художнику выделили безоконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричества. Истопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством.

Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно:

– Вот мы победим, кончится война, и тогда заживем такой счастливой жизнью…

Муж прервал ее сухо и желчно:

– Не обольщайся. Мы прекрасно живем – сейчас. А что касается победы… Мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов ни победил. – И мрачно закончил странной фразой: – От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни пармутарием, ни скутарием…

– О чем ты? – с тревогой спросила Соня.

– Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые – это цвета партий на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае гибнет человек, его частная жизнь. Спи, Соня.

Он накрутил себе на голову полотенце – была у него такая странная, в лагере нажитая привычка – и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучаясь от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку: муж ее обладал знанием столь опасным, что лучше было этого не касаться, – и она уводила свою тревожную мысль в другое место, к томным и тонким переборам внизу живота, и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички в такой же темноте, которая окружает сейчас и ее, легко проводят по мягкой стенке своего первого жилища, и улыбалась.

А Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц – поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, – важнее и значительнее и чужой первой любви, и чуждой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы молодых супругов.

Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное: он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение… Завязалась дискуссия, в которой Сонечкиной горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию, Сонечкой не вполне понятую, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями.

Упрямый Роберт Викторович, оставлявший всегда последнее слово за собой, в глухом предутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене:

– Чума! Чума все эти авторитеты, от Гамалиила до Маркса… А уж ваши… Горький, весь дутый, и Эренбург, насмерть перепуганный… И Аполлинер тоже дутый…

Сонечка на Аполлинере встрепенулась:

– А ты и Аполлинера знал?

– Знал, – нехотя отозвался он. – Во время той войны… Я с ним два месяца жилье делил. Потом меня в Бельгию перевели, под город Ипр. Знаешь такой?

– Да, иприт, помню, – пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии.

– Ну слава богу… Я как раз и попал в эту газовую атаку. Но я был на холме, с подветренной стороны, потому и не был отравлен. Я ведь везучий… счастливчик… – И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном, избранническом везении, просунул руку под Сонины плечи.

К русской литературе они больше не возвращались.

* * *

За месяц до рождения ребенка срок неопределенной командировки Роберта Викторовича, которую он длил до последней возможности, кончился, и он получил предписание немедленно вернуться в башкирское село Давлеканово, где и надлежало ему дотягивать ссылку в надежде на будущее, которое все еще представлялось Сонечке прекрасным и в чем сильно сомневался Роберт Викторович.

И отец, и совсем разболевшаяся легкими мать Сони уговаривали ее остаться в городе хоть до родов, но Сонечка твердо решила ехать вместе с мужем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой. На этом самом месте и проскользнула единственная тень недовольства зятем со стороны старого часовщика. Старик, потеряв к этому времени сына и старшего зятя, бессловесно и близко сошелся с Робертом Викторовичем: различие в их социальном уровне теперь, в перевернутом мире, оказалось не то чтобы несущественным, а скорее

выявляло все мнимые преимущества интеллигента перед пролетарием. Что же касалось всего прочего, подводная часть культурного айсберга была у них единой…

Семья собирала Соню сутки – столько времени отвели Роберту Викторович для окончания всех его дел. Мать, роняя желтые слезы, стремительно подрубала пеленки, тонкой заветной иглой нежно обметывала распашонки, выкроенные из собственной старой рубахи. Старшая сестра Сони, недавно потерявшая на фронте мужа, вязала из красной шерсти маленькие носочки, глядя перед собой неподвижными глазами. Отец, добывший пуд пшена, пересыпал его по маленьким мешочкам и все поглядывал с недоверием на Соню, которая хоть и была на девятом месяце, но так похудела за последнее время, что даже пуговицы на юбке не переставила, а беременность ее угадывалась скорее не по изменению фигуры, а по расплывшемуся лицу и припухшим губам.

– Девочка, девочка будет, – тихонько говорила мать. – Дочери, они всегда материнскую красоту пьют…

Сестра Сони безучастно кивала, а Сонечка растерянно улыбалась и все твердила про себя: «Господи, если можно, девочку… – если можно, беленькую…»

* * *

Ночью знакомый железнодорожник посадил их в маленький, трехвагонный состав, стоявший в полутора километрах от станции, в вагон, сохранивший следы благородного происхождения в виде добротных деревянных панелей. Впрочем, мягкие диваны и откидные столики давно были выломаны и пульмановская роскошь заменена дощатыми скамьями.

От Свердловска до Уфы ехали больше полутора суток в туго набитом вагоне, и всю дорогу почему-то вспоминалось Роберту Викторовичу его шальная юношеская поездка в Барселону, куда рванул он, получив первые крупные деньги, году в двадцать третьем или двадцать четвертом знакомиться с Гауди.

Сонечка доверчиво спала почти все время их путешествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись плечом к худой груди мужа, а он все вспоминал кривую, ползущую вверх улицу, на которой стояла его гостиница,

круглый наивный фонтанчик перед окном, смуглое лицо с вырезанными ноздрями необыкновенно красивой проститутки, с которой он купечески кутил всю ту барселонскую неделю. Он шарил в памяти и легко находил в ней мелкие и яркие детали: совершенно совиную морду официанта в гостиничном ресторане, чудесные плетеные туфли из палевой телячьей кожи, купленные в магазине с огромной синей вывеской «Гомер», и даже имя этой барселонской девчонки вспомнил – Кончетта! Итальянка она была, приезжая, родом из Абруцци… А Гауди ему совершенно не понравился… Во всех подробностях теперь, через четверть века, он видел перед собой эти странные сооружения, совершенно растительные, сплошь надуманные и неправдоподобные…

Сонечка чихнула, полупроснулась, что-то пробормотала. Он прижал к себе ее сонную руку, вернулся в окрестности Уфы, в дикую Башкирию, и улыбнулся, качая седой головой и недоумевая: «Да я ли был там? Я ли теперь здесь? Нет, нет никакой реальности вообще…»

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/lyudmila-ulickaya/48913-sonechka

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить